

*Россия моя, Россия,
Зачем так ярко горишь?*

Марина Цветаева

Глава первая

БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЕГЕНДА

*Я ведь теперь автобиографий не пишу.
И на анкеты не отвечаю. Пусть лучшие
легенды ходят!*

С. Есенин в разговоре с В. Эрлихом

«Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. *Он мал, как мы, он мерзок, как мы!* Врете, подлецы: он мал и мерзок — не так, как вы, — иначе...»

Эта отповедь Пушкина публике, казалось бы, универсальная и окончательная, оказывается вдруг несостоятельной, когда задумываешься о судьбе Есенина... Да, жизнеописание его, вырастающее из стихов, писем, уголовных дел, мемуаров, биографий и автобиографий, конечно же легендарно. И конечно же, горы страниц о нем, написанные не только сильными мира сего — политиками, поэтами, актерами, художниками, но и «маленькими людьми» — обывателями, рядовыми журналистами, обычными завистниками и злопыхателями, — чрезвычайно противоречивы. Во многих воспоминаниях поэт предстает алкоголиком, психически нездоровым человеком, самовлюбленным эгоистом, перешагивающим через людские судьбы, хулиганом и хамом. Не приходится сомневаться, что многое из мемуаров подобного рода — житейская правда. Поразительно другое. Поток воспоминаний о Есенине как о «черном человеке» не в силах ни размыть, ни изменить в наших глазах светоносную есенинскую легенду. Темная легенда о нем не в силах уничтожить легенду светлую. В сказочном облике поэта, загадочность которого с течением времени не только не исчезает, а напротив, разрастается до гигантских размеров, приобретая немыслимые масштабы, так или иначе высвечиваются все его лучшие черты: ум, человечность, обаяние, гениальность,

мужская статья, искренность... Словом, все то, что никоим образом нельзя назвать ни «мелким», ни «мерзким», ни «подлым». И никакому давлению официальной идеологии любых эпох — бухаринской, сталинской, ждановской, яковлевской и т. д. — неподвластно это стихийное творчество вот уже нескольких поколений.

Кажется, окончательно оформились в российской литературной истории легенды о Лермонтове, Некрасове, Блоке, получили свое завершение жизнеописания — с некоторыми блестящими легендарности — Ахматовой, Пастернака, Мандельштама. Но по-настоящему полной и цветущей жизнью дышит лишь есенинская легенда. Она все время выбрасывает новые весенние почки, разворачивается свежей листвой, и никому не ведомо, закончится ли когда ее цветение. Думается, это произойдет не раньше, чем закончится история России.

И да не сочтет читатель нашу мысль кошунственной, но хочется вспомнить слова Гоголя о том, что Пушкин — «русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет», и приложить их к Есенину. История России и судьба русского человека были подвергнуты таким испытаниям, которые не могли предугадать ни Пушкин, ни Гоголь, и именно есенинская жизнь, как нам кажется, определяет сердцевину русской истории XX века. Русскую революцию — ее ход и характер — определяли не люди «меры», а широкие русские натуры, которые любили «выплескиваться» через край и о которых Достоевский говорил, что их «надо бы сузить». Именно люди есенинского «безразмерно-го» склада были главными созидателями истории во всех социальных и политических слоях — у монархистов и большевиков, у эсеров и анархистов, у махновцев и антоновцев... Поэтому велик соблазн поменять имя в пророчестве Гоголя, поменять с дерзкой надеждой: а может быть, сущность русской жизни и русского национального характера мы поймем тогда, когда завершится сотворение легенды о Есенине и когда нам станет окончательно ясно, что он есть для России. Как будто бы он — последняя и роковая, самая крупная наша ставка. Оснований к тому не счесть. И сегодня история идет «по есенинскому пути»...

Русское время за последнее десятилетие переломилось еще раз, и даже в пророчества «ушедших и великих» Провидение вносит поправки. А в том, что именно Гоголь и Пушкин были бесспорными кумирами Есенина, есть тоже некое предначертание свыше. Ведь не случайно же крупнейшие поэты и писатели эпохи (как в советской России, так и в эмиграции),

замечательные актеры, художники и скульпторы, влиятельные идеологи и известные политики сочли своим внутренним долгом, какой-то даже обязанностью оставить воспоминания о Есенине; причем именно в них делали они свои предположения о будущем России и русского человека.

Любопытно, что многие весьма именитые современники Есенина, хорошо знавшие его, чуть ли не на другой день после смерти поэта, отвернувшись от фактов и житейской правды, начали сочинять о нем бесконечную сказочную эпопею. Борис Пастернак, к примеру, знал о Есенине многое: его характер, стихи, быт, странный роман с Айседорой, чудачества и порой весьма расчетливое отношение к жизни. Но он пишет о Есенине так, будто они разделены морем пространства и времени, словно о Байроне или Казанове: «Есенин к жизни своей отнесся, как к сказке. Он Иван-царевичем на сером волке перелетел океан и, как жар-птицу, поймал за хвост Айседору Дункан. Он и стихи свои писал сказочными способами...»

Валентин Катаев попытался сочинить несколько легенд («Алмазный мой венец»): о Пастернаке, Юрии Олеше, Владимире Маяковском, Михаиле Булгакове, Эдуарде Багрицком... Все эти жизнеописания, однако, как ни старался Катаев, не превратились в легенды и остались всего-навсего новеллами. У них не было подлинной основы, ядра, к которому должны были бы прирасти эти новеллы, ибо легенда не сочиняется после смерти, она должна зародиться еще при жизни. И поэтому совершенно естественно, что из всех катаевских новелл один лишь рассказ о «королевиче» Есенине как бы «прилип» к медленно катящемуся есенинскому снежному кому, следуя тайным законам притяжения легендарных частиц к уже существующему ядру воспоминаний.

Сейчас уже почти невозможно разобраться в том, где сам Есенин осмотрительно или легкомысленно рассыпал зерна своей легенды, а где их сеяли его современники. Достаточно вспомнить самые первые шаги... Когда двадцатилетний поэт всего лишь на два неполных месяца приехал в Петроград, он побывал в нескольких редакциях, встретился с Блоком, Городецким, выступил на нескольких поэтических вечерах, был принят в салоне у Зинаиды Гиппиус. Но тут же по литературному Петрограду поползли слухи. Вот как вспоминает о них один из современников: «О Есенине в тогдашних литературных салонах говорили как о чуде. И обычно этот рассказ сводился к тому, что неожиданно-негаданно, точно в сказке, в Петербурге появился кудрявый деревенский паренек, в нагольном тулупе и дедовских валенках, оказав-

шийся сверхталантливым поэтом... О Есенине никто не говорил, что он приехал, хотя железные дороги действовали исправно. Есенин пешком пришел из рязанской деревни в Петроград, как ходили в старину на богомолье. Подобная версия казалась гораздо интереснее, а главное, больше устраивала всех» (М. Бабенчиков)*.

Создается впечатление, что литературная столица ждала пришествия некоего поэтического «мессии» из народа и признала его в Есенине. Один из рецензентов даже написал: «Это была нечаянная радость». Осторожно напомним, что «Нечаянная Радость» для людей той эпохи была не только названием блоковской поэтической книжки, но и чтимым в России иконописным образом Богородицы. Дальше, как говорится, некуда. Поэт сразу же почувствовал какую-то религиозную основу интереса к себе. В январе 1918 года он рассказывал Александру Блоку, что происходит из «богатой старообрядческой семьи», потом повторил И. Розанову, что его дед был «старообрядческим начетчиком», который знал «множество духовных стихов наизусть и хорошо разбирался в них».

Однако дед поэта по отцу, Никита Осипович Есенин, умер еще до рождения Сергея, а дед по матери, Федор Андреевич Титов, был отнюдь не книгочеем, а лихим купцом, владельцем нескольких барж. Не думая о священных книгах, он после удачных заработков гулял по неделе с земляками, и, как вспоминала Екатерина Есенина, «бочки браги и вино ставились около дома.

— Пейте! Ешьте! Веселитесь, православные! — говорил дедушка. — Нечего деньгу копить, умрем, все останется... Давай споем!»

А когда сам И. Розанов в 1926 году приезжал в Константиново, дед поэта откровенно сказал, что ни к каким раскольникам он не причастен, что духовных стихов почти не знает, а его сын говорил, что в их селе никаких раскольников и старообрядцев в помине не было.

Однако уже после смерти Есенина Сергей Городецкий, выступая на одном из вечеров памяти поэта, заявит, что «от деда-начетчика, сказителя сказок и былин, Есенин взял свои песни»!

Легенда Есенина такова, что если этот «сказочный мешок» опрокинуть, то содержимое будет сыпаться из него

* Здесь и далее по всей книге цитируемые письма, мемуары и документы приводятся без каких бы то ни было стилистических и пунктуационных исправлений (прим. ред.).

бесконечно. Высыплются десятки сообщений из газет 1915—1917 годов о молодом крестьянском поэте, который ведет «мужицкое хозяйство» и «пашет землю». Ни тем ни другим Есенин в жизни не занимался. Посыплются слухи о близости Есенина к царской семье. Дело это настолько запутано и мифологизировано, что до последнего времени не просто было разобраться, кому Есенин читал стихи 22 июля 1916 года. Установлено, что императрице Александре Федоровне в присутствии великих княжон Марии и Анастасии. Неизвестно было — чем наградили поэта за чтение стихов — то ли золотыми часами с орлом, то ли перстнем с изумрудом, который якобы до сих пор хранится у троюродной сестры поэта. А одна из мемуаристок вспоминает о том, что Есенин рассказывал ей, как великая княжна Настенька Романова выносила ему с черного хода царскосельской кухни горшочек со сметаной, которую они съедали с ней «одной ложкой поочередно». «Какая глупость!» — возмутится трезво мыслящий читатель, с порога отметающий все мистическое. Однако для того, кто не является рационалистом до мозга костей, в этом фантастическом сюжете не случаен даже тот факт, что, сочиняя подобную историю, поэт выбрал из четырех княжон именно Анастасию, которая потом якобы спаслась от расстрела и лишь совсем недавно скончалась в Англии, окруженная ореолом то ли наследницы престола, то ли самозванной авантюристки. Нельзя считать случайным и то обстоятельство, что именно Анастасия Романова «воскресла» в гениальной «Погорельщине» «антимонархиста» Николая Клюева в облике спившейся, опозоренной, изнасилованной, забывшей свое имя России. Любая выдумка, любая оговорка, любая блажь Есенина таинственным образом обретала дальнейшую судьбу. Любая фантазия, и его собственная и чужая, как репей прилипала то к его голубой с крестиком «а-ля рюс» рубашке, то к пушкинской крылатке, то к европейскому модному костюму, то к его родным и близким, то вообще к русской истории. Аж страшно подумать — почему у него был такой талант, кроме поэтического, и такая легкая или, может быть, наоборот, такая тяжелая рука.

В пирамиду есенинской легенды вложили свои камушки чуть ли не все, кто встречался с поэтом: друзья и недруги, родные и близкие, русские и евреи, коммунистические идеологи и столпы белоэмигрантской литературы — Георгий Адамович, Георгий Иванов, Роман Гуль, Ирина Одоевцева. Не говоря уж о Максиме Горьком. Доходило до курьезов. Так, например, трагикомически (вплоть до повторения одних и тех же эпитетов и проклятий) совпало отношение к

Есенину у Ивана Бунина и Николая Бухарина. Все то, что сказал о Есенине Бухарин — как о поэте «некрофилии», «жарких свечей», «пьяной икоты», «мордобоя», «российской матерщины», «сисястых баб», «шовинизма», — все или почти все в подобных же словах повторил великий русский писатель Бунин. Какой уж тут «златокудрый Лель» и «светлый отрок»? (Бедный Жданов — как он ни старался, из-под его пера не вышло ни одной легенды ни об Ахматовой, ни о Зощенко!) История коварна. Ну скажите, кому сейчас интересны труды «интеллектуала» академика Бухарина «Азбука коммунизма» или «Экономика переходного периода»? А «Злые заметки» живут и останутся в истории лишь потому, что замешены они на нескольких капельках живой есенинской крови. А кому интересна груда литературно-идеологического хлама, нагроможденная в свое время усилиями Троцкого, Луначарского, Сосновского? Достойна изучения, пожалуй, лишь та клевета, которую они сочиняли о Есенине...

В последние годы переизданы почти все книги Анатолия Мариенгофа. Но читаешь их и видишь, что действительно обращает на себя внимание лишь то, что он написал о Есенине. Однажды отец Есенина Александр Никитич, вернувшийся из Москвы, на вопрос матери поэта — видел ли он «Мерингофа» — с простодушной крестьянской проницательностью ответил: «Ничего молодой человек, только лицо у него длинное, как морда у лошади. Кормится он, видно, около нашего Сергея...» Вот и получилось так, что все эти мерингофы, бухарины, сосновские, шершеневичи, крученыхи и иже с ними до сих пор кормились и в необозримом будущем обречены «кормиться возле нашего Сергея»...

Поскольку в обиход ныне снова вошла легенда о Есенине, сотворенная Мариенгофом, не обойтись и без свежих комментариев к ней. Один из нынешних публикаторов «Романа без вранья», размышляя о неоспоримых достоинствах мариенгофских воспоминаний, настаивает на том, что они «достоверны», представляют собой «незаменимый источник для изучения биографии Есенина» и т. д. В конце концов можно согласиться с публикатором, что обвинения современников «в оскорблении памяти поэта» несправедливы и что ни в коей мере нельзя считать мемуары «пасквилем»... Но тем не менее какое-то общее неприятие современниками Есенина мариенгофского «Романа» не случайно. Просто никто из них не сформулировал в свое время, почему названные мемуары, можно сказать, недостойны памяти Есенина. Попробуем это сделать мы.

В одном из эпизодов «Романа без вранья» Мариенгоф рассказывает не новый, но нравоучительный анекдот о том, что такое культура: об Англии, об английском газоне, который надо стричь два раза в неделю и ежедневно два раза поливать в течение трехсот лет. В заключение автор легкомысленно заявляет: «Всей русской литературе один век с хвостиком. Прозой пишем хорошо, когда переводим с французского».

Анатолий Мариенгоф, не являясь коренным русским, мог высказать такую поверхностную и невежественную мысль. Но еврейская девушка Надя Вольпин однажды весьма жестоко поправила его, что известно из ее мемуаров.

Они сидели вдвоем — Есенин, Мариенгоф и Вольпин — возле бронзового Пушкина на Тверском. Мариенгоф, как всегда, ерничал.

«— Ну как, вы его раскусили? Поняли, что такое Сергей Есенин?»

Вольпин ответила:

«— Этого никогда до конца ни вы не поймете, Анатолий Борисович, ни я. Он много нас сложнее. Вот вы для меня весь, как на ладони, да и я для вас... (Тень обиды легла на красивое лицо Мариенгофа.) Мы с вами против него как бы только двумерны. А Сергей... Думаете, он старше вас на два года, меня на четыре с лишком? Нет, он старше нас на много веков!

— Как это?

— Нашей с вами почве — культурной почве — от силы полтора-два десятка лет, наши корни в девятнадцатом веке. А его вскормила Русь, и древняя, и новая. Мы с вами россияне, он русский.

(Боюсь, после этой тирады я нажила себе в Мариенгофе злого врага.)...

Рассуждая так, я несколько кривила душой: умолчала, что, кроме «девятнадцатого века», во мне живет и кое-что от древних культур, от Ветхого Завета, которого добрую половину я в отрочестве одолела в подлиннике. Далеко ли ушли в прошлое те годы, когда мне чудилось, что я старше своих гимназических подруг на две тысячи лет?

Сергей слушал молча, потом встал.

— Ну а ты, Толя, ты-то ее раскусил?»

...Ассимилированный в русской жизни в первом или втором поколении, Мариенгоф был, конечно, куда более упрощенным человеком, нежели Надя Вольпин, девушка с ветхозаветным багажом, не говоря уж о Сергее Есенине. Но следует заметить, что Вольпин как литератору ее двухтыся-

четелтная традиция, далекая от русского духовного склада, не могла дать никаких преимуществ не только перед Есениным, но даже и перед Мариенгофом. В этом тоже состояла драма «россиян», подобных Вольпин. Кстати, более глубокая, нежели пошлая драма Мариенгофа. А главный изъян его мемуаров не в «пасквильности» или «вранье», а совсем в другом. «Моя Пенза» — «есенинская Рязань», «Эпоха Есенина и Мариенгофа», «Возвращаюсь через месяц. Есенин читает первую главу “Пугачева”... Я привез первое действие “Заговора дураков”»... Или вот еще: «Мы принялись оба за теорию имажинизма. Не знаю, куда девалась неоконченная есенинская рукопись. Мой “Буян-остров” был издан к осени»...

Ну кто сейчас помнит «мариенгофскую Пензу», «Заговор дураков», «Буян-остров»?! Не понимая, что ставит себя в смешное и глупое положение, Анатолий Мариенгоф с первой до последней страницы мемуаров совершенно искренне убеждает читателя, что он — величина, равновеликая Есенину! Он просто «лезет» как равный в есенинскую легенду.

Однажды Есенин в состоянии лукавого великодушия посмотрел на квадригу лошадей на фронтоне Большого театра и заметил:

— А ведь мы с тобой вроде этих глупых лошадей. Русская литература будет потяжелее Большого театра.

Поразительно, что Мариенгоф в своем тщеславии воспринимает эту реплику всерьез и всерьез верит, что он один из тех, кто, подобно Есенину, тащит воз русской литературы!

«Мне нравился Клюев, — вспоминает Мариенгоф. — ...И то, что он творил крестное знамение над жидким моссель-промовским пивом... и то, что он ради мистического ряжения и великой фальши, которую зовем мы искусством, надел терновый венец и встал с протянутой ладонью среди нищих на соборной паперти с сердцем циничным и кошунственным, холодным к любви и вере».

В этом отрывке Мариенгоф выступает как «черный человек» по отношению к страстотерпцу Клюеву, распятому эпохой, и, в сущности, рисует свой автопортрет циника с мертвой душой. То, что искусство и поэзия для него есть призвание, а не «великая фальшь», Николай Клюев подтвердил своей мученической смертью. Именно для Мариенгофа призвание было всего лишь «мистическим ряжением». Потому-то как литератор он и окончил свою жизнь в халтуре и бесславии.

Когда же Есенин понял суть своего друга и почувствовал его лицедейское понимание судьбы поэта, он резко отшатнулся от него. Все определилось в первой ссоре:

«Он тяжело опустил руки на столик, нагнулся, придвинул почти вплотную ко мне свое лицо и, отстукивая каждый слог, сказал:

— А я тебя съем!

Есенинское «съем» надлежало понимать в литературном смысле.

— Ты не Серый Волк, а я не Красная Шапочка. Авось не съешь.

Я выдавил из себя улыбку... Скрипнул челюстями.

— А все-таки... съем!..

Вот наша ссора. Первая за шесть лет».

Мариенгоф не понял, что это не ссора, а конец игры в «двух гениев». Моцарт наконец-то разглядел, что рядом с ним всего лишь навсего Сальери. «Я тебя съем» означало: «Все равно ты будешь в моей тени, все равно нам на одном пьедестале рядом не стоять, ибо для тебя поэзия «великая фальшь», а для меня — жизнь и смерть...»

«Роман без вранья» — не столько завистливая книга (зависть пришла позже, в 1950-е годы, когда всем стало ясно, что автор — лишь одна из теней есенинского окружения), сколько глупо самоуверенная и потому даже в чем-то смешная. Мариенгоф в «Романе» творил легенду не только о Есенине, но и о самом себе, причисляя «себя любимого» к сонму бессмертных.

Самовлюбленная пошлость Мариенгофа особенно проявилась в одной из ключевых фраз романа: «А Есенин на другой день после смерти догнал славу». Это очень похоже на лихорадочно-завистливое заявление Маяковского о том, что если бы он умер и лежал в гробу, то о нем стали бы говорить не меньше, чем о Есенине. Напророчил...

Оба как бы упрекали Есенина в том, что он, покончив с собой, очень ловко и без хлопот достиг невероятной славы... Наивные люди! Да не Есенин после смерти догнал славу — она сама догнала его еще при жизни, во что ни Мариенгофу, ни Маяковскому не хотелось верить.

«Алкоголик», «хам», «хулиган» и «златокудрый Лель», «светлый отрок», «русский гений» — две великие легенды о нем. А всех мелких и не перечислить. Тут и записка, якобы написанная кровью и найденная утром 28 декабря 1925 года в «Англетере», о чем в тот же день сообщили чуть ли не все центральные газеты. Здесь и полное убеждение, что «Послание евангелисту Демьяну» — одно из популярнейших самиздатовских стихотворений 1920-х годов — принадлежит именно его перу. Оно не раз печаталось за рубежом, как принадлежащее Сергею Есенину, и Екатерина Есенина в

1926 году вынуждена была, отводя тень, нависшую над родными поэта, опубликовать письмо, в котором категорически отрицала, что ее брат — автор «антисоветского» православного стихотворения. Конечно же, никто из живших есенинской легендой не поверил ей. Чтобы стал ясен диапазон легенды — «от великого до смешного», — вспомним напоследок, что маститый литератор Давид Бурлюк перед тем, как встретиться с Есениным в Нью-Йорке, писал глупости о жизни поэта: «Поэт уезжает на Белое море, где его дядя имеет рыбные промыслы. 5 лет туманов, 5 лет бледные звезды, отраженные в северных морях, смотрят в поэтовы зрачки...»

«Дар поэта — ласкать и корябать, роковая на нем печать», — сказал поэт о себе. Но роковой печатью отмечены так или иначе все, кто был причастен к Есенину и его судьбе. И в этом также таятся суеверные корни есенинской легенды. Судьба многих друзей и недругов Есенина, судьба его родных и близких поистине страшна. В начале «перестройки» в 1987 году один казенный членкор, литературовед, навводя «тень на плетень», писал о том, что коммунистическая власть преследовала среди писателей только революционеров-новаторов. «Тех же, кто писал в традиционной манере, не трогали, больше того, они Сталину были нужны». Эту же точку зрения сформулировал в 1960-х И. Эренбург в мемуарах «Люди. Годы. Жизнь». Он писал: «Вначале обличали Пастернака, Заболоцкого, Асеева, Кирсанова, Олешу... вскоре в “формалистических вывертах” оказались виновными Катаев, Федин, Леонов, Вс. Иванов, Эренбург. Наконец дошли до Тихонова, Бабея, до Кукрыниксов». Чего в этом утверждении больше — лжи или невежества, — сказать трудно, если вспомнить о стихах Пастернака, прославлявших Ленина и Сталина, о лакейском романе Катаева «За власть Советов», об эпопеях Эренбурга, отмеченных сталинскими премиями, о ленинских панегириках Тихонова. Все перечисленные «страдалцы» (за исключением Бабея и Заболоцкого) прожили (кто относительно, а кто и абсолютно) благополучные жизни и при Ленине, и при Сталине, и при Хрущеве с Брежневым. Дотошный летописец эпохи и маститый литературовед «забыли», что в первое советское двадцатилетие была уничтожена именно самая «традиционная», народная есенинская ветвь русской литературы. Расстреляны Клюев, Клычков, Орешин, Ганин, Иван Макаров, Наседкин, Иван Катаев, Иван Приблудный, Павел Васильев, Иван Касаткин. Вместе с ними погибли два самых заметных рабочих поэта той эпохи — Кириллов и Герасимов, лю-

бывшие Есенина и сотрудничавшие с ним... Расстрелян товарищ есенинской юности поэт Леонид Каннегисер. Он, в сущности, первый, на ком была поставлена роковая печать уже осенью 1918 года. Повесился в 1932 году при невыясненных обстоятельствах свидетель последних часов жизни Есенина, его многолетний «враг-друг» Георгий Устинов. Расстрелян в 1937 году автор книги «Право на песнь» поэт Вольф Эрлих. Отбыла северную ссылку близкая поэту женщина Анна Берзинь. Умер в карагандинской ссылке товарищ Есенина Александр Сахаров.

А о родных и близких и говорить нечего. Расстрелян в 1937 году его сын-первенец Юрий Есенин. Вкус суммы и тюрьмы узнала сестра Екатерина. Зверски была зарезана в своей квартире мучительная любовь поэта, мать его двоих детей Зинаида Райх...

Бениславская, Блюмкин, Сосновский, Андрей Соболев, Маяковский, Цветаева, Айседора Дункан — все они «убийцы, самоубийцы, невинно убиенные», которые «прошли, как тени», так или иначе коснувшиеся есенинского огня, навеки, каждый по-своему, остались жить в есенинском мире. И совсем не случайно круг людей, превратившихся, по словам Пимена Карпова, в «растерзанные тени», круг теней, бывших друзьями, врагами, любовницами, собутыльниками и гонителями Есенина, оказался таким необъятным. В этом кругу и его счастливый соперник Всеволод Мейерхольд, и его партийный покровитель Киров, и расстрелянный ЧК лейб-гвардии полковник Ломан... Несть им числа.

«Особую мету» близости к Есенину признавали даже те из его друзей, которые, как говорится, никогда не верили «ни в сон, ни в чох, ни в вороний грой». Анатолий Мариенгоф в книге «Мой век, мои друзья и подруги» вспоминает о том, как Есенин, вернувшийся из-за границы, увидел новорожденного сына Мариенгофа и решил окрестить его:

«— Я наполню купель до краев шампанским. Стихи будут молитвами. Ух, какие молитвы я сложу о Кирилке! Чертям тошно будет, а святые возрадуются».

Крещение не состоялось, но в 1940 году, как пишет Мариенгоф, «Кира сделал то же, что Есенин, его неудавшийся крестный...». Повесился...

Под грудой мемуаров о Есенине можно задохнуться. Уже опубликовано все, что десятилетиями копилось в спецхранах, в архивах, в частных собраниях, и книги, изданные когда-то в Берлине, Нью-Йорке, Париже наконец-то пришли к нам. Многие новые исследования жизни поэта, которые вроде бы должны были заполнить «белые пятна» его судьбы,

еще больше усложняют и затемняют ее. Так, в одной из книг можно прочитать о матери Есенина следующее: «Несчастлива была Татьяна. Полюбила она парня, забеременела от него, но что-то не сладилось у молодых. А тут Александр Есенин уже в который раз добивался ее руки. Вышла замуж без любви. Муж обещал скрыть позор, но разве что утаишь в деревне».

В этом же исследовании описываются две встречи Есенина со Сталиным. Во время первой вождь якобы уговаривал Пастернака, Есенина и Маяковского заняться переводами на русский язык грузинских поэтов («Сталин с кавказской гостеприимностью угощал их чаем, фруктами и вином»), а во время второй встречи, на которой Есенин должен был читать стихи Сталину и старым партийцам, поэт с похмелья, «вместо того, чтобы читать стихи, пару раз качнулся из стороны в сторону, смахнул волосы со лба и зло бросил в зал:

— Вы хотели слушать мои стихи! — помолчал. — Х... вам, а не стихи! — Он повернулся и вышел...»

По мнению автора книги, именно это хулиганство по отношению к Сталину якобы решило судьбу поэта; и не стоит удивляться, если подобная версия станет восприниматься через некоторое время читателями как историческая правда.

Так что создание есенинского апокрифа продолжается. «Что быть должно, то быть должно»... А чем, в сущности, отличается новая есенинская фактография от прежней, ну, к примеру, хотя бы изложенной в «Калужской коммуне» от 31 декабря 1925 года: «Слишком остро носил в себе Есенин память бабки, которую заporол во времена крепостные рязанский помещик»? Ну чем же «эта штука» слабее приема у Сталина?

По-прежнему самыми честными, самыми бесхитростными, самыми «нелитературными» остаются воспоминания о Есенине его сестер, его дальних родных по Константинову, его земляков и товарищей детства. То есть тех, для кого он всю жизнь да и после смерти оставался Сережей, Сергунькой, Сергухой. Они рассказывают, как приезжал Есенин на родину, как вместе ловили рыбу, переплывали Оку, купали лошадей. Как играл он на гармошке, во что был одет, какие песни слушал, какие частушки пел. Это — воспоминания тех, кто бы «вилами пришли вас заколоть» — вас, чужих, за каждый «крик», брошенный в поэта. Но каждый «брошенный крик» тоже ложится камушком в необъятную для взора пирамиду.

Вполне достоверны «женские» воспоминания о поэте

(Г. Бениславской, Н. Вольпин, А. Берзинь) хотя бы потому, что единственная пристрастная нота в них сводится к сетованиям на то, «как она одна его спасала» и спасла бы, если бы не роковые пьяницы-друзья и другие соблазнявшие поэта женщины.

Зачатки легенды человек конечно же приносит в мир сам — своим лицом, жестами, словами, поступками и чем-то еще не до конца объяснимым. Но есть несколько объективных условий для ее развития. Необходимо, чтобы древо легенды разрасталось в пассионарное время и в пассионарном народе. В Европе XIX—XX веков лишь несколько — по пальцам можно пересчитать — поэтов удостоились легендарного ореола. Джордж Байрон, Поль Верлен, Гарсиа Лорка...

Для субъекта легенды крайне важно, чтобы ему самому не до конца была ясна роль, ради которой он пришел в мир. Много раз Есенин спрашивал сам себя: «Кто я?», «зачем пришел я в мир?» И как бы пытаясь помочь поэту, его сотворцы по легенде вот уже несколько десятилетий ищут ответ на эти вопросы. Но волю к поиску спровоцировал он сам, примерившийся к Пушкину, а Пушкин, как известно, это «наше все».

Блондинистый, почти белесый,
В легендах ставший как туман,
О, Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.

Не зря же все крупнейшие русские поэты XX века — Блок, Маяковский, Ахматова, Цветаева, Пастернак — каждый по-своему пытались поговорить с пушкинскими памятниками. Один прощался с Пушкиным на «тихой площади Сената», другой с фамильярной застенчивостью докладывал: «Александр Сергеевич, разрешите представиться». Третья вспоминала о «треуголке и растрепанном томе Парни», четвертая ревниво заявляла — «мой Пушкин»...

Есенин же примерял свою жизнь к пушкинской почти буквально, когда искал себе оправдания:

Но эти милые забавы
Не затемнили образ твой,
И в бронзе выкованной славы
Трясешь ты гордой головой.

Да, эти милые забавы если не затемнили реальный облик есенинского собеседника, то и не прояснили его, потому что он ушел от прояснения в бронзу, в памятник, в легендарную.

6616001
1009199

жизнь. Есенин хотел не реальной судьбы, не биографий и автобиографий, а «бронзы», закутанной в «туман». Поэтому, воссоздавая его образ, одними бесхитростными воспоминаниями сестер и земляков не обойдешься. Он и сам не желал этого. Однако без них мы тоже не поймем, почему Есенин стал бронзой, песней, «русской судьбой».

И разве могла быть другой судьба поэта, стихи которого волновали душу московского чекиста и врангелевского офицера, могли увлечь царицу Александру Федоровну и Сергея Кирова, московскую проститутку и Василия Качалова? По мнению современного русского писателя Ю. Мамлеева, совершенно особое место Есенина в русской ауре определено тем, что его поэзия «вступает в соприкосновение с самым сокровенным, тайным уровнем русской души, с тем уровнем, который коренным образом связывает русских с Россией и с собой». Миф о Есенине в течение XX века постепенно изменил свое «молекулярное» строение и из явления истории переродился в явление природы.

* * *

Эта книга была задумана и рождалась в тяжелейшее для России время. Может быть, не менее тяжелое, чем есенинское. С неменьшей яростью, нежели тогда, унижаются Россия и ее национальные поэты. Но тщетны потуги русофобов затемнить светлую часть есенинской легенды. Она обречена разрастаться и увеличиваться. Тщетны и благие усилия исследователей-лакировщиков перечеркнуть тень, отбрасываемую «черным человеком» Есенина. Чем больше тень, тем крупнее и монументальнее фигура, отбрасывающая ее. Нечистая сила, пытающаяся увеличить есенинскую тень, обречена с отчаянием наблюдать, что ее действия приводят к противоположным результатам, что работа против Есенина чудесным образом оборачивается работой на его легенду и на его славу. Есенин, в отличие от Хомы Брута, спокойно выходит за очерченный меловой круг и не падает, как гоголевский герой, замертво, а стоит с непостижимой улыбкой на лице и смотрит, как нечисть в панике от своего бессилия бросается после третьего петушиного крика в решетчатые окна заброшенного храма и при свете зари превращается в прах, ветошь, пыль, небытие...